



ШТОРМОВОЙ ВЕСТНИК

Специальный выпуск

Истории Н. Шторма в его рассказах

Николай Штурм

**Истории Н. Штурма
в его рассказах**

«Автор»

2026

Шторм Н.

Истории Н. Шторма в его рассказах / Н. Шторм — «Автор»,
2026

Дорогие читатели, это не просто сборник рассказов — это дыхание времени. Специальный выпуск «Штормового вестника», посвящённый «Историям Н. Шторма в его рассказах», — это попытка собрать воедино голоса, которые не смолкли даже в самой лютой буре. Николай Шторм не стремится оглушить читателя масштабом: он подносит к уху раковину — и в ней слышен и прибой, и шёпот, и крик, и тишина. Перед нами два крупных полотна, два мира, выточенных из боли, памяти и редкой, почти забытой сегодня способности — сострадать без пафоса. «Вечно молодой» — о пути человека, который всю жизнь остаётся юным, потому что не перестаёт искать смысл в каждом рассвете. «Нева шепчет» — о городе, который учится дышать, когда воздуха почти нет. И там, и здесь Шторм говорит не о «судьбах народов», а о судьбах людей — тех, кто держит за руку, пишет на асфальте мелом, протягивает сухарь, слушает, как шепчет река.

© Шторм Н., 2026

© Автор, 2026

Николай Шторм

Истории Н. Шторма в его рассказах

«Голоса, которые не смолкли в бурю»: статья главного редактора «Штормового вестника» Алины Раскольниковой о сборнике Н. Шторма

Дорогие читатели, это не просто сборник рассказов — это дыхание времени. Специальный выпуск «Штормового вестника», посвящённый «Историям Н. Шторма в его рассказах», — это попытка собрать воедино голоса, которые не смолкли даже в самой лютной буре. Николай Шторм не стремится оглушить читателя масштабом: он подносит к уху раковину — и в ней слышен и прибой, и шёпот, и крик, и тишина.

Перед нами два крупных полотна, два мира, выточенных из боли, памяти и редкой, почти забытой сегодня способности — сострадать без пафоса. «Вечно молодой» — о пути человека, который всю жизнь остаётся юным, потому что не перестаёт искать смысл в каждом рассвете. «Нева шепчет» — о городе, который учится дышать, когда воздуха почти нет. И там, и здесь Шторм говорит не о «судьбах народов», а о судьбах людей — тех, кто держит за руку, пишет на асфальте мелом, протягивает сухарь, слушает, как шепчет река.

«Вечно молодой»: юность как выбор

История Сашки — это не ностальгия по ушедшим годам, а утверждение: молодость — это не возраст, а способность откликаться на мир. От крыши девятиэтажки в Твери до публикации романа, от коммунальной комнаты до признания — Шторм показывает, как талант прорастает сквозь бетон обыденности. Особенно пронзительна линия матери: её простые, но точные слова — «главное — чтобы человек вперёд смотрел, а не назад» — становятся нравственным компасом героя.

Шторм не лакирует путь: здесь есть и нищета, и сомнения, и горькие уроки. Но в центре — не поражение, а упорство. Даже когда глаза становятся усталыми, а волосы седеют, Сашка остаётся «вечно молодым», потому что продолжает писать, рисовать мелом на асфальте, видеть в старом клёне календарь прожитых дней. В финале звучит почти формула: «Пока иду — я молод. Пока пишу — живу». И в этой фразе — не поза, а подлинное чувство ответственности художника перед жизнью.

«Нева шепчет»: город как свидетель

Вторая история — о блокаде, но не как о параграфе в учебнике, а как о личном, телесном опыте. Шторм избегает парадной героики: его Ленинград — это скрип саней, серый иней на граните, сто двадцать пять граммов хлеба, которые «ничего не весят, но это всё». Особенно важно, что автор не превращает трагедию в фон: он показывает, как горе въедается в камень, в трещины штукатурки, в тишину города, которая громче любого грохота.

Линия Василисы — это путь от отчаяния к тихому сопротивлению. Её не спасает громкое чудо: её спасает человеческое присутствие — Алексей, который просто встаёт рядом и протягивает сухарь. В этом жесте — вся этика Шторма: не громкие слова, а конкретная, почти бытовая доброта. История Алексея, прошедшего через окопы и госпиталь, добавляет ещё один слой: он тоже учится заново жить, и его «огонь в глазах» — не романтика, а ответственность за другого человека.

Особенно тонко выстроена сцена на мосту: Нева здесь — не просто река, а голос судьбы, зовущий к покою. Но этот зов побеждается не силой, а вниманием: Алексей не кричит, не тянет, он просто есть. И тень отступает.

Художественные приёмы: как Шторм создаёт эффект присутствия

Детали-якоря. Сухарь с отпечатком зуба, тетрадка в клетку, мел на асфальте — эти мелочи делают истории осязаемыми. Читатель не наблюдает со стороны: он чувствует холод гранита, вкус перловки, запах карболки в госпитале.

Ритм и повторы. Фразы вроде «шёл дальше», «город молчал», «Нева шептала» работают как рефрены, создавая гипнотический эффект.

Контрасты. Юность и усталость, свет и серость, крик и тишина — Шторм строит свои рассказы на противопоставлениях, которые не конфликтуют, а дополняют друг друга.

Внутренний монолог. Мысли героев не подаются как «поток сознания», а вплетены в действие: читатель слышит их, когда герой смотрит на рассвет, стоит на мосту, держит в руках пустую тетрадку.

Почему эти истории важны сегодня

В эпоху, когда литература часто стремится к эффекту, Шторм предлагает глубину. Его герои не спасают мир — они спасают друг друга: мать — сына советом, Алексей — Василису сухарем, Нина — Сашку терпением. Это не маленькие истории: это истории о том, как держится мир — на простых, но непреложных вещах.

Сборник Н. Шторма — напоминание о том, что литература может быть не развлечением, а формой памяти. Он не даёт готовых ответов, но задаёт важные вопросы: что делает человека молодым? Как не потерять голос, когда вокруг тишина? Что остаётся, когда уходит самое дорогое?

Приглашение к диалогу

Мы открываем рубрику «Читательский голос»: присылайте в редакцию свои размышления о рассказах Н. Шторма, о героях, которые отозвались в сердце, о деталях, которые запомнились. Лучшие письма мы опубликуем в следующем номере. Ведь именно читатель завершает историю — своим откликом, своим чувством, своим пониманием.

С уважением,
Алина Раскольников,
главный редактор «Штормового вестника»

Страницы на ветру

*«Сегодня жизнь моя — любовь,
А завтра жизнь — мечта.
И повторяются вновь и вновь
То эта жизнь, то та...»
А. Коврижных*

Он жил за городом, в старом доме на отшибе — будто специально отодвинул себя подальше от суеты, чтобы слышать, как шепчет тишина. Вокруг тянулись поля, по осени усыпанные сухой травой, а зимой заметаемые снегом так, что дом становился похож на одинокий остров посреди белого моря.

Каждый месяц он выбирался в город — не ради людей, а ради двух вещей: продуктов и новых книг. Эти поездки были для него не просто необходимостью, а ритуалом, почти паломничеством. Он заранее составлял списки: мука, соль, крупа — всё самое простое, без излишеств. А рядом, на отдельном листке, выводил названия и авторов, иногда с пометками: «про филосо-

фию отчаяния», «о путешествиях по забытым местам», «что-то старое, с пожелтевшими страницами».

Путь до города занимал полдня: сначала пешком по просёлочной дороге, потом на скрипучем автобусе, где пахло мокрым пальто и пылью. В городе он держался ближе к окраинам, избегая центральных улиц, где слишком много голосов сливалось в один неразборчивый гул. Его целью была маленькая букинистическая лавка в полуподвале, где хозяин знал его в лицо и откладывал для него всё, что могло показаться странным или забытым другими.

В те редкие моменты, когда кто-то пытался заговорить с ним – кассир в магазине, попутчик в автобусе, продавец в лавке, – он отвечал коротко, вежливо, но так, чтобы разговор не затягивался. Ему казалось, что каждое лишнее слово отнимает что-то у той тишины, которую он так старательно хранил дома.

Но однажды, в один из таких выездов, когда он, как обычно, свернул в переулок к букинисту, он заметил её. Она стояла у витрины соседней лавки, рассматривая старые открытки, и смеялась над чем-то, чего он не слышал. В этом смехе не было ничего нарочитого – он был живым, немного неловким и оттого особенно настоящим.

Он замер на мгновение, будто кто-то внезапно включил свет в тёмной комнате. И впервые за долгое время ему захотелось не уйти, не спрятаться за привычной вежливой фразой, а остановиться и просто посмотреть. Так он и сделал. И именно в этот момент она обернулась – и их взгляды встретились.

С тех пор его ежемесячные поездки перестали быть просто ритуалом. Теперь в них появилась новая, едва уловимая надежда: а вдруг она снова окажется здесь, у той самой витрины, и снова рассмеётся над чем-то маленьким и важным. И каждый раз, выходя из дома, он чувствовал, как эта надежда тихо звенит внутри, словно натянутая струна – то ли от радости, то ли от страха, что всё это может оказаться лишь игрой его воображения.

Эти строки он выводил дрожащей рукой на первой странице своей рукописи, а потом долго смотрел на них, будто надеялся, что чернила подскажут ему, как соединить два мира – тот, что живёт в книгах, и тот, что дышит за окном. Но мир за окном всё время ускользал от понимания.

Он жил за городом, в старом доме на отшибе, где ветер гулял по пустым комнатам, а тишина была такой густой, что её можно было почти потрогать. Его домом правила библиотека: полки от пола до потолка, книги, пахнувшие пылью и временем, стали его собеседниками, судьями и утешителями. В них он искал рецепт, как сделать мир лучше – не громкими лозунгами, а тихой, упрямой правдой. Он верил, что если достаточно внимательно читать, если собрать из сотен историй одну-единственную, верную, то можно будет наконец-то всё исправить.

Каждый месяц он выбирался в город – за продуктами и за новыми книгами, как за крупицами надежды. И однажды среди будничной суеты, среди чужих плеч и торопливых шагов, он встретил её. Она стояла у витрины букинистической лавки и смеялась над какой-то старой открыткой – смех был не книжный, не идеальный, а живой, немного неловкий, будто она сама удивлялась, что рассмеялась. В тот миг ему показалось, что мир вдруг стал чуть светлее.

Он начал искать поводы бывать в городе чаще, хотя раньше избегал людей. Он смотрел на неё и пытался разглядеть в её движениях, в её словах ту самую истину, которую столько лет искал между строк. Но она была другой. Не злой, не холодной – просто другой. Она не хотела спасти мир, она хотела пить горячий чай, когда на улице льёт дождь, и радоваться мелочам, которые он привык не замечать. Она говорила: «Мир не обязан быть идеальным, чтобы быть хорошим». А он не мог этого принять. Для него «хорошее» без «идеального» было как книга с вырванными страницами – неполным, неправильным.

С каждым разговором пропасть между ними становилась всё шире. Он всё чаще возвращался к своим полкам, к книгам, где всё было ясно: где зло имело лицо, а добро – голос, где

любовь и мечта не спорили друг с другом, а шли рука об руку. А в жизни они спорили. В жизни любовь требовала терпения, а мечта – жертв, и он не знал, как отдать и то, и другое, не потеряв себя.

Однажды ночью, когда ветер выл так, будто оплакивал что-то давно ушедшее, он понял, что больше не может балансировать между двумя мирами. Он чувствовал, что разрывается на части, и эта боль стала невыносимой. Тогда он сел писать. Письмо для неё – длинное, горькое, полное отчаяния и странной, болезненной честности. Он писал, что разочаровался не в ней, а в своём праве требовать от мира совершенства. Что не смог найти место для её живой, несовершенной доброты в своём идеальном, книжном мире. И что единственный способ прекратить этот разрыв – положить всему конец.

Рядом с письмом он оставил рукопись – годы своих размышлений, попыток собрать из осколков слов хоть какую-то картину мира, которая имела бы смысл. А потом облил книги керосином. Пламя вспыхнуло неожиданно быстро, будто ждало этого момента. Огонь пожирал страницы, превращая мудрость веков в пепел и дым. Он сидел посреди этого пожара, спокойный и опустошённый, как человек, который наконец-то принял самое тяжёлое решение в своей жизни.

На рассвете девушка нашла письмо. Прочитала его от первой до последней строчки, и каждое слово било по сердцу, как ледяной дождь. Она бежала к обрыву, не чувствуя дороги под ногами. Ветер рвал волосы, кричал в ушах, но она не слышала ничего, кроме эха его слов. В тот момент, когда земля ушла из-под ног, ей вдруг показалось, что она поняла: он не разочаровался в ней. Он разочаровался в своём праве требовать от мира совершенства. И не смог вынести этого разочарования.

Рукопись, которую он оставил, разлетелась на множество фрагментов. Ветер подхватил листы и разнёс их по городу. Кто-то нашёл страницу в парке, кто-то – на ступеньках библиотеки, кто-то – в кармане старого пальто. Люди читали эти обрывки, собирали их, пытались понять. И постепенно, строчка за строчкой, перед ними вырисовывалась история человека, который хотел слишком многого – и не смог принять того, что мир даёт не всё сразу.

И когда они сложили эти фрагменты воедино, то поняли: иначе он поступить не мог. Не потому что был слаб, а потому что был слишком честен перед собой. И в этой честности, пусть и разрушительной, было своё величие. А строки, с которых всё началось, теперь жили отдельно от него, переходя из рук в руки: люди шептали их, когда становилось особенно горько, и в этих словах находили странное, тихое утешение – потому что кто-то до них уже чувствовал эту боль и назвал её своими словами.

Две Монтаны: таинственная история, рассказанная ночью у костра

*И будем мы с тобой, как две Монтаны,
Испепеляя жаркие тела,
Терзая плоть в объятиях нирваны,
Стонать от наслаждения сполна.*

Ночь накрыла лес тяжёлым бархатным плащом, и только костёр упрямо боролся с тьмой, выбрасывая в небо золотые искры. Они сидели плечом к плечу, укутавшись в один плед, и слушали, как шепчет ветер в кронах сосен. Вокруг не было ни души – только бесконечность и они. В этой тишине слова казались лишними, но ей хотелось рассказать ему всё.

– Знаешь, – тихо начала она, глядя на пляшущие языки пламени, – иногда мне кажется, что моя душа разбита на мириады звёзд. И нет таких слов, чтобы склеить её обратно.

Он не стал утешать пустыми фразами. Просто крепче прижал её к себе, и она почувствовала, как его тепло понемногу растапливает лёд, сковавший сердце.

– Тогда пусть вечность подождёт, – прошептал он. – Пусть это мгновение длится бесконечно... ну хотя бы ещё час.

И тут случилось нечто странное. Пламя вдруг взметнулось вверх, словно в ответ на его слова, а потом сжалось в маленький дрожащий шар света. Он завис над костром, переливаясь всеми оттенками янтаря и аметиста. Они замерли, не в силах отвести взгляд.

– Что это? – выдохнула она.

– Не знаю, – ответил он, но в его голосе не было страха, только какое-то древнее, забытое предвкушение.

Шар света медленно поплыл к ним и разделился на две части. Две крошечные кометы закружились вокруг них, сплетаясь в причудливый танец. Их свет проникал под кожу, отзывался где-то в груди горячим, обжигающим ритмом. Девушка вдруг поняла, что слышит не только треск дров, но и биение его сердца – и оно звучало в унисон с её собственным.

– Мы как две Монтаны, – вдруг сказал он, и в этом сравнении было что-то большее, чем просто слова. Это было признание силы, которая сжигала их изнутри, превращая боль в пламя, а страх – в смелость.

– Две стихии, столкнувшиеся в одной точке пространства и времени.

Она закрыла глаза, позволяя этому свету наполнить её целиком. А когда снова открыла их, лес вокруг изменился: деревья стали выше, тени – глубже, а воздух – густым, словно сироп. Время будто застыло, превратившись в вязкую смолу, в которой они могли двигаться, но которая не пускала ничего извне. Ни ветра, ни холода, ни прошлого. Только они и этот свет, ставший их щитом.

– Ты чувствуешь? – спросил он, касаясь её щеки кончиками пальцев. Его кожа была тёплой, почти горячей, и от этого прикосновения по её спине бежали мурашки.

– Здесь время не властно над нами.

Она кивнула, не доверяя голосу: слова могли разрушить эту хрупкую магию. Они прижались друг к другу, и мир вокруг растаял, оставив только ощущение, что они – две половинки одной расколотой вселенной, наконец-то нашедшие друг друга. Их тени слились в одну, огромную и бесформенную, которая тянулась к звёздам, пытаясь дотянуться до той самой вечности, что когда-то казалась такой равнодушной.

А потом шар света снова собрался воедино и медленно опустился в костёр, растворившись в углях. Лес вернулся к своему обычному виду: деревья стали просто деревьями, тени – просто тенями, а воздух – обычным прохладным воздухом августовской ночи. Но что-то осталось. В её ладонях ещё чувствовалось тепло того света, а в груди – ритм, который теперь навсегда будет звучать в такт с его сердцем.

– Оно вернёт нас сюда? – спросила она, когда первые лучи рассвета начали пробиваться сквозь листву.

– Обязательно, – улыбнулся он, накидывая на её плечи плед. – Потому что теперь это место знает нас. Знает, что мы умеем останавливать мгновения.

Они собрали вещи, но не спешили уходить. Ещё несколько минут они стояли, глядя на остывающие угли, словно пытаясь запомнить каждую искру. И она знала: где бы они ни были, что бы ни случилось – они всегда смогут вернуться сюда. В эту ночь у костра, где время замирало ради них, а вечность наконец-то находила слова, чтобы склеить разбитую душу.

Они встретились в городе, который будто был соткан из тумана и старых тайн. В тот вечер дождь стекал по витринам, размывая отражения, и казалось, что весь мир стал акварелью, где краски медленно сползают вниз. Арина стояла у книжной лавки, прячась под зонтом, а Кирилл прошёл мимо, не глядя, но вдруг остановился, будто его дёрнули за невидимую нить. Он обернулся. Их взгляды встретились – и в этом мгновении что-то щёлкнуло, как замок, который сто лет не открывали, а теперь он поддался с тихим скрипом.

– Простите, – сказал он, хотя извиняться было не за что, – вы... вы будто знакомы мне.

Арина улыбнулась, но в этой улыбке пряталась насторожённость – она давно привыкла, что люди сначала видят её красоту, а потом уже её саму.

– Это частая ошибка, – ответила она. – Я просто похожа на кого-то из чьих-то снов.

Он не отвёл глаз.

– Может быть, – тихо согласился он. – Или на кого-то из моих.

Так началась их история – не с громких признаний, а с этого странного, почти болезненного узнавания, от которого у обоих сжималось сердце.

Они не спешили. Их сближение было похоже на танец, где каждый шаг – осторожный, почти робкий, но неизбежно ведущий к следующему. Кирилл водил её по городу, показывая места, о которых знали только старожилы: заброшенный флигель с витражами, которые в лучах заката горели, как застывший огонь; мостик над узким ручьём, где, по легенде, шептали свои желания ветру, и если ветер подхватывал, они сбывались. Арина слушала и запоминала каждую деталь, потому что в этих рассказах она видела его – настоящего, не прикрытого привычной маской сдержанности.

А он смотрел на неё так, словно боялся, что она исчезнет, если он моргнёт.

Однажды вечером они оказались на окраине, у старого кладбища, где среди покосившихся крестов и каменных ангелов пряталась маленькая часовня. Над входом висела потемневшая табличка с полустёртой надписью. Кирилл провёл по буквам пальцами, будто читая их на ощупь.

– Здесь похоронен человек, который, по преданию, умел останавливать время, – прошептал он. – Не навсегда, конечно. Только на миг. Говорят, он делал это, чтобы удержать самое дорогое.

Арина замерла.

– И что с ним стало?

Кирилл пожал плечами, но в его глазах мелькнуло что-то, похожее на тень старой боли.

– Говорят, он так и остался в этом миге. Вечность забрала его, потому что он слишком долго пытался её обмануть.

Она тогда не поняла, почему эти слова отозвались в ней такой острой тоской, словно она уже знала эту историю – только с другой стороны.

Их первая настоящая близость случилась в ту ночь, когда город накрыла гроза. Молнии рвали небо на лоскуты, и каждый раскат грома звучал как предупреждение. Они укрылись в маленькой квартире Кирилла, где пахло старыми книгами и корицей, и мир за окном перестал существовать. Остались только их дыхание, переплетённые пальцы, шёпот, который тонул в шуме дождя.

В какой-то момент Арина вдруг замерла, прислушиваясь не к звукам, а к чему-то внутри себя. Ей показалось, что время действительно замедлилось – капли, падающие на подоконник, растягивались в длинные прозрачные нити, а свет лампы стал густым, как мёд.

– Ты чувствуешь? – прошептала она, глядя на Кирилла.

Он кивнул, не удивляясь, будто ждал этого.

– Да. Иногда оно слушается нас.

И тогда она поняла: он знал. Знал, что с ними происходит что-то странное, и не боялся этого.

Позже, когда гроза утихла, они сидели на полу, прижавшись друг к другу, и Арина рассказала ему то, о чём не говорила никому. О снах, в которых она видела себя разбитой на мириады звёзд, и о голосе, который шептал ей: «Соберись. Ты нужна ему». О том, как в детстве она находила в старых альбомах фотографии незнакомой женщины, которая была её точной копией, только старше, с глазами, полными такой же тоски. И о том, как однажды, стоя у зеркала, она вдруг увидела в отражении не себя, а ту женщину, которая тихо сказала: «Не отпускай его. Если ты это сделаешь, время больше не остановится ни для кого».

Кирилл слушал, не перебивая, и когда она замолчала, прижал её голову к своему плечу.
– Я не отпущу, – пообещал он. – Даже если весь мир будет требовать, чтобы мы разошлись.

Тайна, что вилась вокруг них, становилась всё плотнее. В местах, где они бывали вместе, начинали происходить странные вещи: часы останавливались ровно в тот момент, когда они переступали порог; тени на стенах складывались в узоры, похожие на древние символы; а в ветре иногда слышались обрывки фраз на незнакомом языке.

Однажды, гуляя по набережной, они наткнулись на старика, который сидел на скамейке и смотрел на воду так, будто видел в ней не отражение неба, а целые миры. Он поднял глаза, когда они подошли, и вдруг улыбнулся – не им, а сквозь них, как будто видел что-то за их спинами.

– Две Монтаны, – пробормотал он, кивая. – Наконец-то.

Арина вздрогнула.

– Что вы сказали?

Старик прищурился, словно пытаясь разглядеть что-то ускользающее.

– Вы – две силы, которым суждено столкнуться и стать чем-то большим. Как две стихии. Только помните: вечность не любит, когда её обманывают. Она всегда берёт свою плату.

Когда они обернулись, чтобы спросить ещё что-то, старика уже не было. Скамейка стояла пустая, а на мокром дереве темнели следы от его ладоней – будто он не сидел, а держался за неё, чтобы не исчезнуть.

С каждым днём их связь становилась крепче, но и опасность, казалось, росла вместе с ней. Арина начала замечать, что в те моменты, когда они были вместе, мир вокруг будто замирал – птицы зависали в воздухе, капли дождя застывали в полёте, а тени вытягивались, словно пытаясь дотянуться до них. Это было красиво и страшно одновременно.

Однажды ночью, когда они лежали, обнявшись, и слушали, как за окном шумит ветер, Арина вдруг села, обхватив себя руками.

– Мне страшно, – призналась она. – Кажется, мы ломаем что-то очень важное.

Кирилл сел рядом и взял её за руки.

– Или, наоборот, чиним, – тихо сказал он. – Может быть, вечность разбита на осколки, и мы – те, кто должен её склеить.

Она посмотрела на него, и в этот момент время снова замерло. Даже их сердца, казалось, пропустили удар, а потом забились в унисон – громко, отчаянно, как будто пытались доказать, что они реальны.

Кульминацией их истории стала ночь у костра – та самая, о которой теперь будут рассказывать у других костров, добавляя всё новые и новые детали. Они приехали в лес, подальше от города, и разожгли огонь среди старых сосен. Пламя танцевало, отбрасывая причудливые тени, и в какой-то момент из него вырвался шар света – тот самый, что Арина уже видела в своих снах. Он завис над костром, переливаясь всеми оттенками янтаря и аметиста, а потом разделился на две части, закружившись вокруг них в медленном танце.

– Это знак, – прошептал Кирилл, глядя на свет. – Мы на правильном пути.

Свет проник под кожу, наполняя их теплом и силой, и в тот момент они поняли друг друга без слов. Они были не просто двумя людьми – они были двумя половинами расколотов вселенной, которые наконец-то нашли друг друга.

Но когда свет снова собрался воедино и растворился в углях, Арина почувствовала, как что-то изменилось. Время, которое раньше замирало ради них, теперь будто ускорилося, пытаясь наверстать упущенное. Дни стали мелькать, как кадры старой плёнки, и каждый из них нёс в себе тень неизбежной разлуки.

Развязка пришла неожиданно. В тот день, когда они собирались уехать вместе, чтобы начать новую жизнь вдали от тайн и загадок, Кирилл не пришёл на встречу. Арина ждала его на

вокзале, сжимая в руках два билета, и смотрела на часы, которые вдруг начали идти в обратную сторону. А потом к ней подошёл тот самый старик с набережной – теперь он выглядел моложе, почти как ровесник Кирилла.

– Он сделал выбор, – просто сказал старик. – Он остался, чтобы время могло идти дальше.

Арина покачала головой, не веря.

– Но почему?

– Потому что плата за остановку вечности – это всегда чья-то свобода. Место, где вам было хорошо вдвоём, теперь хранит его одиночество. Он будет ждать. И помнить. Всегда.

Она выбежала из вокзала, не помня себя, и вернулась в тот самый лес, к тому самому костру. Угли ещё тлели, и когда она опустилась на колени, из них снова вырвался слабый свет – всего на мгновение. В этом свете она увидела Кирилла – он улыбался и шептал: «Иди. Живи. А я буду ждать».

И когда свет погас, Арина поняла: она не потеряла его. Они всё ещё были двумя Монтанами – двумя силами, которые столкнулись и стали чем-то большим. И где-то в глубине вечности он всё ещё ждал её, зная, что однажды она снова найдёт дорогу к нему.

Годы спустя, сидя у другого костра и рассказывая эту историю тем, кто пришёл послушать сказки, Арина улыбалась. Её глаза светились тихой грустью и счастьем одновременно.

– Вечность не любит, когда её обманывают, – говорила она. – Но иногда она позволяет нам украсть у неё одно мгновение. И если это мгновение наполнено любовью, оно становится вечным.

И слушатели кивали, потому что верили: где-то там, за гранью времени, две Монтаны всё ещё идут рука об руку, останавливая мгновения и склеивая осколки разбитой души.

Вечно молодой

*Голова шальная, синий взгляд уставший,
В свете людных улиц он – герой вчерашний.
Озорные годы спрятав за спиной,
По земле шагает вечно молодой.*

Часть первая. Журавль в небе

Его звали Александром, но для всех он был просто Сашкой. Сашка с шальной головой и синими глазами, в которых всегда что-то мерещилось – то ли тучи, набегающие с горизонта, то ли дальние страны, то ли просто тот особенный свет, что бывает только в ранней юности, когда кажется, будто весь мир лежит у твоих ног и никуда не денется.

Город, в котором он рос, был обыкновенным. Тверь – город на Волге, с мостами, церквями, облупленными подъездами и дворами, где пацаны гоняли мяч до темноты. Сашка и сам гонял, но чаще сидел на бетонной скамейке у подъезда, смотрел в небо и разговаривал сам с собой. Нет, не разговаривал – скорее, слушал что-то внутри, какой-то голос, который другим был неслышен. Может, это была музыка. Может, просто ветер в голове. А может – то самое предчувствие, что жизнь у него будет не как у всех.

Мать работала на фарфоровом заводе. Приходила домой усталая, пахнущая краской и обжигом, с руками, покрытыми мелкими трещинами. Но никогда не жаловалась. Только сядет на кухне, закурит, посмотрит на сына своими тёмными, добрыми глазами и скажет:

– Ты, Сашка, не мелочи. Ты главное понимай. Главное – чтобы человек вперед смотрел, а не назад.

Отец ушёл рано. Не то чтобы ушёл – скорее, растворился. Был, звонил пару раз, потом перестал. Сашка помнил его смутно: большие руки, запах одеколона, голос – густой, низкий, будто из бочки. Потом голос исчез, и остались только мать, бабушка и двор.

Во дворе Сашка был своим. Озорной, дерзкий, с вечной ухмылкой на лице, он умел заразить всех какой-нибудь безумной идеей. То предложит строить шалаш на пустыре за гаражами, то организует экспедицию на другой берег Волги – на старой, раздутой камере, которую кто-то нашёл в сарае. То заявится к ребятам с гитарой, найденной на помойке, с тремя струнами из шести, и будет петь драным голосом песни Высоцкого, коверкая слова, но так, что все слушали.

Он не был ни лучшим, ни худшим. Он был – как искра. Вспыхивал, ярко горел, а потом так же внезапно гас, уходя в себя, в свои небеса, в свой внутренний разговор с миром.

Однажды – ему было лет шестнадцать – он залез на крышу девятиэтажки. Не ради хулиганства, не на спор. Просто хотел увидеть, как над Волгой встаёт солнце. Забрался по пожарной лестнице, перелез через парапет, сел на край и стал смотреть. Город лежал внизу, серый, ещё не проснувшийся, а над рекой разгоралось небо – розовое, золотое, с длинными облаками, похожими на кисти художника. И в тот момент Сашка понял, что запомнит это навсегда. Что это и есть то, ради чего стоит жить – эти мгновения, когда мир открывается целиком и ты стоишь на его краю, и нет ни страха, ни сомнения, только чистый, звенящий восторг.

Потом, конечно, его поймали. Мать ругалась, бабушка крестила лоб, соседки шептались: «Сдурел пацан, точно сдурел». Но Сашка только улыбался. И уже тогда, в тот день, он записал в тетрадку, которую таскал с собой, – обычную тетрадку в сорок восемь листов, в клетку, – первую свою фразу, которая была не записью, а скорее выдохом: «Утро над Волгой – это когда ты понимаешь, что небо живое».

С тетрадкой он не расставался. Писал где угодно: на уроках, в автобусе, на скамейке, ночью при свете настольной лампы, когда мать уже спала. Писал коряво, торопливо, с зачёркиваниями и исправлениями, но строчки лились из него, как из берёзы сок весной – сами, без усилий. Стихи, обрывки, целые рассказы. Про моряков, про воинов, про женщин, которые ждут. Про всё, чего он ещё не знал, но что уже чувствовал.

Учителя не знали, что с ним делать. По литературе он мог с ходу разобрать лермонтовского «Демона» так, что учительница Мария Петровна снимала очки и молча кивала. А по математике сидел с пустым взглядом, глядя в окно, и не мог решить простейшее уравнение. «Способный, но ленивый», – писали в характеристике. «Голова шальная», – вздыхала мать.

Он и сам это знал. Знал, что не создан для системы, для графиков и таблиц, для расписаний и планов. Он был создан для чего-то другого – для дорог, для неба, для слов. Но в провинциальном городе девяностых годов это всё звучало как приговор. «Писатель? И что ты будешь есть – свои стихи?»

Сашка не спорил. Только сжимал зубы и шёл дальше – по земле, шагая, как ему казалось, вечно молодым.

Часть вторая. Пьяная любовь

Она появилась в его жизни летом, когда ему исполнилось девятнадцать. Он работал грузчиком на оптовом рынке – таскал коробки с посудой, с консервами, с чем попало. Работа была тяжёлая, тупая, но давала деньги, на которые можно было жить и покупать тетрадки.

Её звали Ниной. Она была на год старше, с каштановыми волосами, собранными в хвост, с веснушками на носу и с тем особенным выражением глаз, которое Сашка потом будет пытаться описать всю жизнь и так и не сможет. Не красавица – нет. Но в ней было что-то такое, от чего хотелось рядом быть. Не говорить – просто быть.

Они познакомились у ларька, где Сашка покупал сигареты. Она уронила пакет с яблоками, он поднял. Банально. Нелепо. Но когда она посмотрела на него – а он на неё – что-то щёлкнуло. Как замок, который наконец нашли нужный ключ.

– Ты кто? – спросила она.

– Сашка.

– А я Нина.

– Красиво, – сказал он, и сам не понял, что имел в виду – имя или что-то другое.

Они стали ходить вместе. Просто ходить – по улицам, по набережной, по вечернему городу, где фонари отражались в чёрной воде Волги, и казалось, что под ногами не асфальт, а две реки – одна вверх ногами, другая на месте. Сашка читал ей свои стихи. Она слушала, не перебивая, не комментируя, и только иногда говорила: «Ещё». Это было лучше всяких похвал.

Нина работала медсестрой в поликлинике. Приходила домой уставшая, пахнущая спиртом и бинтами. Сашка встречал её у подъезда. Брал за руку. Молчал. И в этом молчании было больше, чем в тысячах слов.

Любовь пришла к нему не как нежный ветер, а как шторм – внезапно, мощно, захватив с головы до ног. Он отдавался ей сразу, целиком, без остатка, потому что иначе не умел. Не мог поступить иначе. Это было не в его природе – отдавать половинчато, с оговорками, с подстраховкой. Он любил так, как дышал – полной грудью, не задумываясь о том, что воздух может кончиться.

Они снимали комнату в коммуналке на улице Советской. Обои отходили от стен, кран капал, сосед за стеной пил и стонал по ночам. Но Сашке было всё равно. Он был счастлив так, как бывают счастливы только очень молодые люди, – безусловно, без оглядки, без мысли о том, что счастье может быть временным.

По ночам, когда Нина засыпала, он садился на кухне, клал перед собой тетрадку и писал. Писал о ней – о её руках, о её дыхании, о тени от фонаря на потолке. Писал о матери, которая плакала, когда он уехал из дома, но сказала: «Иди, сынок. Только помни – я всегда здесь». Писал о небе, о журавле, которого надеялся поймать, о дороге, которая уходит вдаль, за бугры, за дебри, в неведомое.

– Ты всё пишешь? – спросила Нина однажды, проснувшись.

– Пишу.

– А про что?

– Про всё. Про нас. Про жизнь. Про то, как рассвет над рекой похож на правду, а закат – на сказку.

Она улыбнулась, повернулась на бок и снова уснула. А он продолжал.

В те годы Сашка верил. Верил по-настоящему, неуклюже, как ребёнок, – верил, что поймает журавля в небе, что слова его чего-то стоят, что мать-земля всегда будет опорой, что судьба – это не приговор, а черновик, который можно переписать. Не внимал сомнениям. Не слушал тех, кто говорил: «Брось, Сашка, не будет из тебя писателя, иди работать». Не слышал прогнозов – ни мерзких, ни добрых. Шёл вперёд.

Мать звала. Он приезжал – нечасто, но приезжал. Приезжал и снова уезжал. Мать не жаловалась. Только курила на кухне и смотрела на него тем же долгим, терпеливым взглядом.

– Сынок, – сказала она однажды, когда он собирал рюкзак, – ты хоть напиши мне, когда доедешь.

Он кивнул. Поцеловал её в щёку. Ушёл.

Часть третья. Дорога

Дорога пролегла среди бугров и дебрей – так ему казалось, хотя в географии его странствий не было ни гор, ни джунглей. Был Питер, куда он рванул в двадцать два года с рюкзаком, тетрадкой и пятью тысячами рублей в кармане. Была Москва, куда его занесло через год. Были воронежские степи, новгородские леса, какой-то посёлок на Белом море, где он работал сезонным рабочим на рыбном заводе и писал по ночам, укрывшись в каптёрку, пахнущую треской и мылом.

Он был путником. Не туристом, не командировочным – именно путником, который идёт, потому что не может стоять на месте. Каждый новый город казался ему главой ненаписанной

книги. Каждый новый человек – персонажем. Он впитывал лица, голоса, истории, как промокашка впитывает чернила.

В Питере он ночевал на вокзале, потом у какого-то поэта-самиздатчика на Васильевском, потом в общежитии при заводе, куда устроился учеником токаря. Токарем он не стал – руки не из того места росли. Но три месяца продержался, а потом ушёл, потому что встретил человека, который изменил его жизнь.

Человека звали Аркадий Семёнович. Он был редактором маленького литературного журнала, который выходил тиражом в триста экземпляров и распространялся по знакомым. Старый, грузный, с табачным пятном на усах, он сидел в подвале на улице Рубинштейна, пил портвейн и читал рукописи. Сашка сунул ему свою тетрадку – ту самую, сорок восемь листов в клетку, – и сказал:

– Вот. Если можно – почитайте.

Аркадий Семёнович почитал. Долго молчал. Потом снял очки, протёр их краем рубашки и сказал:

– Ты, парень, писать умеешь. Но не умеешь строить. У тебя всё в кучу – стихи, проза, мысли, обрывки. Ты выбери одно и бей в одну точку. Понял?

Сашка не понял. Но кивнул.

– Иди, – сказал Аркадий Семёнович. – Напиши мне рассказ. Не стихи – рассказ. Прозу. О чём хочешь. И принеси через неделю.

Через неделю Сашка принёс рассказ про солдата, который возвращается домой с войны и находит, что дом его стоит, а жена – ждёт. Рассказ был корявый, с лишними словами и рваным ритмом, но в нём было что-то живое – какая-то правда, которую нельзя выдумать, а можно только прожить. Аркадий Семёнович напечатал его в своём журнале. Это был первый опубликованный текст Александра.

Сашка купил на гонорар – триста рублей – бутылку водки, выпил её один на крыше, глядя на питерское небо, и расплакался. Не от счастья, не от горя – от того, что что-то сдвинулось. Что-то, наконец, начало происходить.

Часть четвёртая. Война и возвращение

Его призвали в двадцать три. Не то чтобы призвали – он сам пошёл, когда увидел в военкомате плакат с десанником и парашютом. Мать плакала. Нина молчала и только губы кусала. Он поцеловал её в лоб, сказал: «Я вернусь» – и ушёл.

Служба была в горах. Где именно – Сашка не любил уточнять. Было жарко, пыльно, страшно. Он видел вещи, о которых не писал ни в одной тетрадке. Видел, как умирают люди – не красиво, не как в кино, а грязно, нелепо, с мольбой в глазах. Видел, как горы стоят равнодушно – те же горы, что в его стихах были символом величия, а здесь оказались просто камнем, на котором засыхает кровь.

Он не любил об этом говорить. Ни тогда, ни потом. Но это изменило его. Он стал тише. Осторожнее. Синие глаза, всегда такие ясные, получили усталый оттенок, который уже не ушёл до конца жизни.

Вернулся он осенью, худой, обгоревший, с чемоданом, в котором лежали пустая тетрадка, флешка с музыкой и парадная форма. Нина ждала на перроне. Она не бросилась к нему на шею, не закричала, не заплакала. Просто подошла, взяла его за руку и сказала:

– Пойдём домой.

И он пошёл.

В ту ночь он лежал рядом с ней, слушал её дыхание, чувствовал тепло её тела и думал: вот оно – возвращение. Не то, о котором пишут в книгах, – с оркестрами и флагами. А настоящее, тихое, когда женщина просто берёт за руку и ведёт домой. Когда кровать тёплая, а за окном – ночь, и ничего не нужно объяснять.

Он запишет об этом потом, через много лет:

«Я вернулся с войны не на коне и не с орденами. Я вернулся с войны, держа за руку женщину, которая ждала. И это было больше любого ордена».

Часть пятая. Роман

После армии он начал писать роман. Долго, мучительно, по ночам – днём работал: грузил, разносил, расклеивал объявления. Нина работала, кормила их обоих, никогда не говорила «брось». Только один раз, когда он в третий раз переписал начало, сказала:

– Саш, может, хватит переделывать? Может, уже – дальше?

Он посмотрел на неё, улыбнулся, и дальше пошло легче.

Роман был о солдате, который возвращается с войны и пытается понять, зачем жил. О женщине, которая ждала. О небе, в котором горит звезда. О дороге, которая ведёт через бугры и дебри – не в географии, а внутри. Он писал его два года, переписывал, правил, выбрасывал целые главы, вставал в три часа ночи и садился за стол, потому что строка, которая не давала спать, стучала в голове, как птица в окно.

Роман вышел в маленьком издательстве, тиражом две тысячи экземпляров. Никто не заметил. Ни рецензий, ни интервью, ни премий. Просто книга, которая легла на полку нескольких книжных магазинов и тихо продавалась.

Но однажды – через полгода – позвонил Аркадий Семёнович.

– Саша, – сказал он, – звонил один человек. Из Москвы. Говорит, прочитал. Говорит, надо переиздать.

Этим человеком был редактор крупного издательства. Роман переиздали. Потом – ещё раз. Потом перевели. Потом Сашка впервые в жизни получил деньги, на которые можно было не считать.

Ему было тридцать два.

Часть шестая. Глубоко за сорок

Время умчалось – как экспресс, мимо которого стоишь на платформе и не успеваешь разглядеть окон. Дети родились – двое: сначала сын, Лёшка, потом дочь, Маша. Сашка носил их на руках, качал по ночам, читал им свои стихи вместо колыбельных, и они засыпали под его драный голос, под строчки про небо и журавлей.

Дом был на окраине Твери – он вернулся, в конце концов, не смог жить в чужом городе. Нина работала в больнице. Сашка писал. Иногда – статьи, иногда – рассказы, иногда – ничего, просто сидел у окна и смотрел, как дворник метёт листья, как падает снег, как девочка с косичками ведёт за руку младшего брата.

К сорока трём он стал другим. Не сломленным – нет. Но другим. Тело грузнело, волосы седели, синие глаза устали. Он это знал и не стеснялся. Шутил: «Голова шальная, взгляд уставший – классика жанра». Нина смеялась. Она по-прежнему была рядом – тихая, тёплая, с тем же выражением глаз, которое он так и не смог описать.

Дети росли. Лёшка пошёл в школу, потом в институт. Маша занималась танцами. В доме было шумно, тесно, весело. Сашка иногда уходил в свою комнату, закрывал дверь и писал. Теперь – не ночами, а утром, когда все расходились. Садился за стол, клал перед собой чистый лист и начинал.

Писал о том, как море в шторм играет – он видел море однажды, в командировке, и оно его поразило: не красотой, а мощью, тем, как волна бьёт в камни и откатывается, и снова бьёт, и снова откатывается, и так без конца. Писал о том, как встречал рассвет с любимой женщиной – не в первый раз, а в тысячный, когда уже знал каждую черту её лица, но всё равно замирал, видя, как утренний свет ложится на её кожу. Писал о том, как вернулся с войны – не ногами, а сердцем. О том, как она ждала – не героически, а обыденно, каждый день, стирая, готовя,

ложась в холодную постель. О звезде в вечернем небе, которая звала – куда, он не знал, но она звала.

Иногда он выходил во двор. Брал мел – обычный, белый, из магазина – и рисовал на асфальте. Не важно что: деревья, дома, солнце с лучами, человечков с улыбками. Соседи смотрели странно. Дети подходили, помогали. Сашка рисовал рядом с ними, на корточках, и на мгновение – на одно короткое мгновение – чувствовал себя тем самым мальчишкой с шальной головой, который залез на крышу, чтобы увидеть рассвет.

Часть седьмая. Слова и соки

Мать умерла на сорок седьмом году его жизни. Тихо, во сне, как и жила – без шума, без жалоб. Он приехал слишком поздно – за два часа до того, как её не стало, он был в пути, в поезде, смотрел в окно на поля, которые желтели под осенним солнцем.

На похоронах он не плакал. Стоял у могилы, держал Нину за руку и молчал. А ночью, дома, сел за стол и написал:

«Мать-земля больше не под ногами. Она ушла в землю. Но я чувствую её – не внизу, а внутри. Как корень, который тянется через всю жизнь и держит тебя, чтобы ты не упал».

После смерти матери что-то сдвинулось. Не сломалось – сдвинулось. Он стал писать иначе: тише, медленнее, с каким-то новым терпением, которого раньше не было. Будто понял, что спешить некуда, что строки – это не гонка, а рост, как с берёзы соки: нельзя торопить, можно только ждать.

Он написал ещё одну книгу. Не роман – скорее повесть, или длинный рассказ, или исповедь. Книгу о человеке, который прожил жизнь и оглянулся назад. О юности, которая была озорной и дерзкой. О любви, которая была пьяной. О войне, которая была грязной. О небе, которое было живым. О дороге, которая не кончалась.

Книгу приняли хорошо. Не бурно – хорошо. Тихо, серьёзно, как принимают вещи, в которых узнают себя. Пришли письма. Не фанатские, не восторженные – простые, от людей, которые писали: «Я тоже так чувствовал, но не мог сказать. Вы сказали за меня».

Сашка читал письма и не верил. Не тому, что их пишут, – тому, что его слова значат для кого-то. Что строки, которые он выдыхал ночью, сидя на кухне в коммуналке, в общежитии, в своей комнате на окраине, – эти строки дошли. Не потерялись. Не пропали.

Часть восьмая. Старый клён

Ему было пятьдесят три. Лёшка заканчивал университет. Маша работала в Москве. Дом опустел, и в нём стало непривычно тихо. Нина сидела на кухне, пила чай. Сашка сидел в своей комнате, перед ним – лист бумаги.

Он думал о том, что жизнь – странная штука. Начинаешь как строка на чистом листе – ничего нет, только белое, только возможность. Потом строчки бегут – быстро, путаясь, перебивая друг друга, как дети во дворе. Потом – медленнее, ровнее, с паузами. И в какой-то момент останавливаешься, оглядываешься назад – и видишь: написана страница. Глава. Книга.

Он встал, подошёл к окну. Во дворе, у подъезда, стоял старый клён. Он был тут всегда – с тех пор, как Сашка помнил себя. Весной он распускал листья, летом давал тень, осенью ронял жёлтый, рыжий, багряный дождь, а зимой стоял голый, чёрный, словно нарисованный углём. Сейчас, в сентябре, он был наполовину золотой, наполовину зелёный, и ветер перелистывал его листья, как страницы.

Сашка смотрел на клён и думал: вот он, календарь. Не бумажный, не электронный – живой. Каждый лист – день, прожитый и отброшенный. Но дерево стоит. И в следующем году даст новые листья. И потом снова. И снова.

Он сел за стол. Взял ручку. И написал – не роман, не повесть, не стих, – просто строки, которые пришли:

«Голова шальная, синий взгляд уставший. В свете людных улиц – я герой вчерашний. Но я стою. И я иду. И пока иду – я молод. Пока пишу – живу».

Он положил ручку. Посмотрел на окно, за которым золотел клён. Улыбнулся – не грустно, не весело, а как-то по-другому: спокойно, благодарно, как человек, который долго шёл и наконец понял, что дорога – это и есть цель.

Во дворе мальчишка лет восьми рисовал на асфальте мелом. Солнце. Дом. Человечка с поднятыми руками. Сашка смотрел на него через стекло и узнавал себя. Того себя, который был когда-то. Того, который есть. Того, который, может быть, останется.

Нина позвала с кухни:

– Саш, чай будешь?

– Буду, – сказал он.

ВАСИЛИСА

Часть первая. Нева шепчет

Город умирал тихо, как умирает свеча на сквозняке – не сразу, нет, постепенно, шаг за шагом, тускнея, сникая, пока не остаётся один синий черенок огня, дрожащий на грани существования. Ленинград умирал, как умирают живые существа: не стены и не мостовые – стены стояли, мостовые лежали, – а что-то внутри, между стен, между камнями, между людьми, что делало город городом, а не грудой камня. Дух уходил. Дух выходил из города, как воздух из пробитого мяча, и оставалась оболочка – фасады, арки, лепнина, фонарные столбы, всё на месте, всё как было, только мёртвое.

Сначала опустели трамваи. Они стояли там, где их застала беда, – посреди проспектов, на поворотах, у остановок, занесённые снегом, как памятники исчезнувшей цивилизации. Контакты сорвало, провода провисли, трамваи вмёрзли в рельсы, снег навалил на крыши, и они стали похожи на саркофаги – жёлтые, с тёмными пустыми окнами, в которых не отражалось ничего. Потом остановились троллейбусы – их растащили по улицам, подальше от депо, потому что депо было слишком близко к фронту, они простояли всю зиму, уткнувшись рогами в небо, как мёртвые олени. Потом выключился свет – не везде, не сразу, а как угасает последний фонарь: мигнул, дрогнул, погас. Тьма пришла в город и осталась.

Василисе было семнадцать. Она не помнила, когда именно перестала бояться. Страх уходит последним, но даже он уходит. Сначала ушёл голод – не чувство, а слово; чувство осталось, но слово, которым его называли, стало слишком маленьким, как рубашка, из которой выросли. Голод был не в животе – он был везде: в руках, которые не держали, в глазах, которые не видели, в мыслях, которые не думали, а только сосали, сосали, сосали, как младенец сосёт пустую грудь.

Город был голоден. В ноябре рабочим давали двести пятьдесят граммов хлеба – тёмного, тяжёлого, с примесью опилок и обойной пыли, который резали не ножом, а пилой, потому что он был как дерево. Служащим и детям – сто двадцать пять. Сто двадцать пять граммов. Василиса держала этот кусок в ладони и чувствовала, что он ничего не весит – что воздух весит больше, что тень от камня весит больше, – но это было всё. Этот кусок был всем миром. Она откусывала – медленно, по крошке, – хлеб был горький, горечь была вкусной, потому что вкус – это жизнь, а горький вкус – это жизнь, которая помнит себя другой, она жаждет вырваться из оков, крепко сковавших её, разорвать невидимые цепи, которые не дают дышать и от которых постоянно смердит безысходностью и угнетением.

Сначала не стало мамы. Мама умерла тихо, сидя у буржуйки – маленькой железной печки, в которой жгли стулья, книги, мебель, – и лицо её было спокойное, и руки сложены на коленях, и Василиса долго не трогала её, потому что, если не трогать, то, может быть, это неправда: может быть, мама просто спит, просто устала, просто закрыла глаза.

Но тело остыло, Василиса поняла это не разумом, а ладонью, которая коснулась маминго лба; лоб был не тёплый и не холодный, а никакой, как стена, как камень, как гранит набережной.

Потом брат. Пятнадцатилетний мальчишка, бросивший школу, чтобы стоять у станка. Он работал на заводе, который не переставал работать даже тогда, потому что там делали снаряды, а снаряды были нужны фронту, а фронт был рядом, фронт был здесь, фронт был в каждом звуке, в каждом грохоте, в каждом далёком «ду-ду-ду», которое стало таким привычным, что без него было страшнее, чем с ним. Он работал, пока мог стоять, а потом работал, сидя на табуретке, а потом – лёжа, потому что руки ещё слушались. Потом перестали слушаться руки. Потом – сестрёнка. Три года. Василиса носила её на руках, когда уже не могла нести себя. Девочка умерла тихо, во сне, и Василиса долго не могла понять, что это значит – что маленькое тельце, которое она грела своим дыханием, уже не тёплое, а просто не холодное. Ещё не холодное.

В те дни Василиса увидела, как по улице шла процессия – не людей, а крыс. Крысы шли колонной, по обочине, не торопясь, как солдаты, как хозяева. Они были огромные и жирные, отъевшиеся на мёртвых, и они не боялись – не боялись ничего, не боялись никого, потому что теперь они были сильнее, чем когда-либо. Они переходили дорогу, трамваи – мёртвые, вмёрзшие в рельсы трамваи – стояли, крысы проходили мимо, и это было страшнее, чем обстрел, страшнее, чем голод, потому что обстрел – это война, а крысы – это победа смерти, окончательная, безоговорочная, признанная всем живущим.

После того как Василиса потеряла всё, она целыми днями бродила по набережной.

Ленинградская набережная в ту зиму была как лицо мертвеца – всё на месте, всё узнаваемо, но неправильно. Гранит был тот же, парапет тот же, лестницы спускались к воде – те же, что и прежде, – но гранит был покрыт инеем, иней был не белый, а серый, как цвет города, его новый, настоящий цвет, не тот, что на открытках, не тот, что в книгах, – а тот, мертвецки бледный, когда красок больше нет. Дворцовая набережная, Английская, Адмиралтейская – все они стояли, за ними стояли дворцы, в окнах дворцов не было света, дворцы были как черепа – красивые, величественные, мёртвые. Зимний дворец, Эрмитаж – они стояли, как стояли при Екатерине, при Александре, при Николае, но внутри было пусто, и пустота была не физическая – экспонаты оставались, в подвалах, под замком, – а другая, та, что приходит, когда из дома уходят люди, а вещи остаются и не понимают, зачем.

Нева была чёрной. Не тёмной, не глубокой – именно чёрной, как дёготь, как провал, как окно без стекла, в которое смотрит то, у чего нет названия. Вода не отражала неба, потому что небо над Ленинградом тоже стало чёрным, и одно чёрное в другое чёрное гляделось, и нельзя было понять, где вода, а где воздух, где верх, а где низ. Нева шептала. Василиса слышала это не ушами – ушами она слышала вой сирен и далёкий гул орудий, а это шло откуда-то изнутри, из того места, где у людей живёт память о том, что они были когда-то не на этом свете. Нева шептала: «Иди ко мне». Просто так. Без обещаний. Без лжи. «Иди ко мне» – как мать зовёт, как колыбельная, как последнее, что услышишь, когда всё остальное уже стихло.

И Нева звала правду – Василиса знала это. Нева была старше города, старше дворцов, старше камней. Нева помнила языческие жертвоприношения, помнила шведские лады, помнила Петра, который поставил город на болоте, на костях, на воде, и Нева помнила всех, кого забрала, – и при наводнениях, и в обычные годы, – и она хотела забрать ещё, потому что река всегда хочет забрать, река – это река, и нет в ней ни добра, ни зла, а есть только течение и глубина, и глубина зовёт.

Василиса не ела несколько дней. Только пила воду – из крана, из лужи, из горловины Невы, когда добредала до кромки и опускала обмороженные пальцы в чёрное. Воду тошнило обратно. Тело не хотело жить, но тело не спрашивали. Оно боролось.

Несколько раз она теряла сознание – прямо на граните, прямо на мостовой, прямо посреди улицы, где не было уже ни прохожих, ни трамваев, ни звона, ни жизни.

Каждый раз темнота забирала её, и каждый раз что-то вталкивало обратно – не воля, не разум, а что-то первобытное, то, что не знает слов «я больше не могу». Оно не знает слов вообще.

А ещё были звуки. Ленинград молчал – но молчал громко. Тишина блокадного города была не тишиной, а отсутствием: не было трамваев, не было автомобильных гудков, не было шарканья ног по тротуарам, не было детского крика, не было смеха, не было музыки. Но были другие звуки: скрип саней, на которых везли мёртвых, – деревянный, мерный, как метроном; глухой стук тел, которые складывали у подъездов, потому что до кладбища было не дойти, не доехать, не донести; далёкий, бесконечно далёкий лязг артиллерии, который не прекращался, который стал пульсом города, его сердцебиением, его дыханием. И поверх всего – метроном. Радио работало – не везде, не всегда, но метроном стучал, быстрый – тревога, медленный – отбой, и этот стук был последним, что связывало живых с жизнью.

Однажды она встала на мост.

Мост был деревянный, временный, почерневший. Под ним – чёрная вода, а в чёрной воде – глубина, а в глубине – покой. Нева звала. Василиса перегнулась через перила. Ветер дул с залива, и ветер тоже говорил, или это Нева говорила через ветер, или это Василиса сама с собой говорила голосом реки. «Иди ко мне. Иди ко мне. Иди».

И в этот момент Василиса увидела в воде – или показалось, или померещилось – лица. Лица в чёрной воде. Мамины. Брата. Сестрёнкины. Они смотрели на неё снизу, из глубины, и они не звали – они смотрели, и взгляд их был не мёртвый, а живой, и в нём была тоска, и тоска была не о себе – о ней, о Василисе, о той, что стоит на мосту и смотрит вниз. И Василиса не знала, видение ли это, безумие ли, или Нева показывает ей то, что уже не люди, а вода, или вода – это и есть все, кто умер, и они все здесь, в чёрной глубине, и ждут, и не зовут, а просто ждут, потому что ждут – не значит «приходи», ждут – значит «мы здесь, мы помним, мы любим».

Часть вторая. Сухарь

Алексей был из Калинина. Не из того Калинина, что на туристических открытках, – из настоящего, из того, где мосты через Волгу, где зимы белые, где мужики молчаливые и бабы крепкие. Калинин – город древний, старше Москвы на сорок лет, стоящий на том месте, где Тверца впадает в Волгу, и Волга здесь ещё молодая, не разлившаяся, не заматеревшая, а бойкая, быстрая, с белыми перекатами, с жёлтыми песками на отмелях, с чайками, что кричат над водой, как дети над игрушками. Город, который горел – не раз, не два, а много: татары жгли, поляки жгли, пожары были так часто, что калининцы привыкли строить заново, и каждый раз строили лучше, и каждый раз – из дерева, и каждый раз – горело.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.